

Толстой Л.Н.

Анна Каренина

Анна Каренина / Толстой Л.Н.—М.:ДА!Медиа, 2014.

«Анна Каренина» – роман русского писателя, публициста, просветителя и религиозного мыслителя Льва Николаевича Толстого (1828-1910). Роман был начат в 1873 году и завершен в 1877 году. Публиковался по частям, первая из которых была напечатана в 1875 году в «Русском вестнике». Впервые опубликован отдельной книгой в 1878 году.

В «Анне Карениной» Толстой представляет лишенный нравственного единства «раздробленный мир», в котором царит хаос добра и зла. В романе нет изображения великих исторических событий, но в нем поднимаются и остаются без ответа темы и вопросы, близкие лично каждому. История трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера, графа Алексея Вронского предстает в контексте развернутой картины нравов и быта дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины XIX века, сходных с мировоззрением автора философских размышлений и глубоких психологических разработок человеческих характеров.

ISBN 978-5-4472-3749-3

© ООО «ДА!Медиа», по заказу Министерства культуры Российской Федерации, 2014

I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожителстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, — и столы пели: — *Il mio tesoro*, и не *Il mio tesoro*, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, — думал он. — Ах, ах, ах!» — приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидел ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какую он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на

— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучала Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отречься, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал! — его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», — подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупую улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

«Всему виной эта глупая улыбка», — думал Степан Аркадьич.

«Но что же делать? что делать?» — с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог теперь раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. — И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, участлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего., И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно! Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что же делать?»

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: — надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет, — сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших

Детское слово. Подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

— Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.

— На столе, — отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: — От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: — «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»

Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.

— Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтобы не беспокоили вас и себя понапрасну, — сказал он, видимо, приготовленную фразу.

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевернутые, как всегда, слова, и лицо его просияло.

— Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, — сказал он, остановив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшего розовую дорожку между длинными кудрявыми бакенбардами.

— Слава богу, — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

— Одни или с супругом? — спросил Матвей.

Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхнею губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.

— Одни. Наверху приготовить?

— Дарье Александровне доложи, где прикажут.

— Дарье Александровне? — как бы с сомнением повторил Матвей.

— Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут.

«Попробовать хотите», — понял Матвей, но он сказал только:

— Слушаю-с.

Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и сбирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.

— Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, — сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, устался на барина.

Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

— А? Матвей? — сказал он, покачивая головой.

— Ничего, сударь, образуется, — сказал Матвей.

— Образуется?

— Так точно-с.

— Ты думаешь? Это кто там? — спросил Степан Аркадьич, услышав за дверью шум женского платья.

Lituzo.com — сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

— Ну что, Матреша? — спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь.

Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват перед женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.

— Ну что? — сказал он уныло.

— Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навывтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься....

— Да ведь не примет...

— А вы свое сделайте. Бог милостив, богу молитесь, сударь, богу молитесь.

— Ну, хорошо, ступай, — сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. — Ну, так давай одеваться, — обратился он к Матвею и решительно скинул халат.

— Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина.

III

Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, выправил рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двойной цепочкой и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофе и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия.

Он прочел письма. Одно было очень неприятное — от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, — эта мысль оскорбляла его.

Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе; за кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее.

Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого, чтоб он находил либеральное направление

Блестящим, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все дурно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело., Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смиренного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника — обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т.д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственною ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: — от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагоприятно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого, иронического удовольствия.

Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, — радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение.

Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался.

Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) слышались за дверьми. Они что-то везли и уронили.

— Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, — кричала по-английски девочка, — вот подбери!

«Все смешалось, — подумал Степан Аркадьич, — вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу.

Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространившийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее..

— Что мама? — спросил он, водя рукой по гладкой, нежной шейке дочери. — Здравствуй, — сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику.

Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик

Чувствовал, что он не ответил улыбкой на холодную улыбку отца.

— Мама? Встала, — отвечала девочка.

Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», — подумал он.

— Что, она весела?

Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел.

— Не знаю, — сказала она. — Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке.

— Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, постой, — сказал он, все-таки удерживая ее и глядя ее нежную ручку.

Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную.

— Грише? — сказала девочка, указывая на шоколадную.

— Да, да. — И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее.

— Карета готова, — сказал Матвей. — Да просительница, — прибавил он.

— Давно тут? — спросил Степан Аркадьич.

— С полчаса.

— Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!

— Надо же вам дать хоть кофею откусать, — сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться.

— Ну, проси же скорее, — сказал Облонский, морщась от досады.

Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом; но Степан Аркадьич, по своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу. Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, — жену.

«Ах да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» — говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

«Однако когда-нибудь же нужно; ведь не может же это так остаться», — сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и открыл другую дверь, в спальню жены.

IV

Дарья Александровна, в кофточке и с пришпиленными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волоса с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей пред открытою шифоньеркой, из которой она выбирала что-то. Услыхав

Шаги мужа она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: — отобрать детские и свои вещи, которые она увезет к матери, — и опять не могла на это решиться; но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малою частью той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньшей заболел оттого, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет.

Увидав мужа, она опустила руку в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.

— Долли! — сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем.

Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! — подумала она, — а я?!. И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», — подумала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.

— Что вам нужно? — сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.

— Долли! — повторил он с дрожанием в голосе. — Анна приедет сегодня.

— Ну что же мне? Я не могу ее принять! — вскрикнула она.

— Но надо же, однако, Долли..

— Уйдите, уйдите, уйдите! — не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все образуется, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он увидал ее измученное, страдальческое лицо, услышал этот звук голоса, покорный судьбе и отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

— Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога! Ведь... — он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле.

Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него.

— Долли, что я могу сказать?.. Одно: — прости, прости... Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты...

Она опустила глаза и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее.

— Минуты... минуты увлечения... — выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица.

— Уйдите, уйдите отсюда! — закричала она еще пронзительнее, — и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости!

Лица хотела прийти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.

— Долли! — проговорил он, уже всхлипывая. — Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!

Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.

— Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, — сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе.

Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отстранилась от него.

— Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не знаю, чем я спасу их: — тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом, — да, с развратным отцом... Ну, скажите, после того... что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? — повторяла она, возвышая голос. — После того как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей...

— Но что ж делать? Что делать? — говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову.

— Вы мне гадки, отвратительны! — закричала она, горячась все более и более. — Ваши слезы — вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! — с болью и злобой произнесла она это ужасное для себя слово чужой.

Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся на ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», — подумал он.

— Это ужасно! Ужасно! — проговорил он.

В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.

Она, видимо, опоминалась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери.

«Ведь любит же она моего ребенка, — подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, — моего ребенка; как же она может ненавидеть меня?»

— Долли, еще одно слово, — проговорил он, идя за нею.

— Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей!

И она вышла, хлопнув дверью.

Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: — образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, — говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: — подлец и любовница. — И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты.

Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец «сам был заведен на всю жизнь, чтобы заводить часы», — и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко: — образуется, — подумал он. — Это надо

— Матвей! — крикнул он, — так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, — сказал он явившемуся Матвею.

— Слушаю-с.

Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо.

— Кушать дома не будете? — сказал провожавший Матвей.

— Как придется. Да вот возьми на расходы, — сказал он, подавая десять рублей из бумажника. — Довольно будет?

— Довольно ли. не довольно, видно обойтись надо, — сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо.

Дарья Александровна между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: — что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром?

— Ах, оставьте, оставьте меня! — сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил он с нею? — думала она. — Неужели он выдает ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме — мы чужие. Навсегда чужие!» — повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то...» — начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери.

— Уж прикажите за братом послать, — сказала она, — все он изготовит обед; а то, повчерашнему, до шести часов дети не евши.

— Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряджусь. Да послали ли за свежим молоком?

И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.

V

Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних; но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, он занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.

Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно,

Давали земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного были все ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого.

Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» — почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, — на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним.

Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в-третьих, — главное — в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.

Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьичем:

— Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли...

— Получили наконец? — проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. — Ну-с, господа... — И присутствие началось.

«Если б они знали, — думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, — каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» — И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа — перерыв и завтрак.

Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг отворились, и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зеркала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь.

Лица делом было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним.

— После завтрака успеем кончить, — сказал Степан Аркадьич.

— Как еще успеем! — сказал Никитин.

— А плут порядочный должен быть этот Фомин, — сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали.

Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил.

— Кто это входил? — спросил он у сторожа.

— Какой-то, ваше превосходительство, без спросу влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: — когда выйдут члены, тогда...

— Где он?

— Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, — сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавою бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал вверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходявших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.

Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из-за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего.

— Так и есть! Левин, наконец! — проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. — Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? — сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. — Давно ли?

— Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, — отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.

— Ну, пойдем в кабинет, — сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями.

Степан Аркадьич был на «ты» почти со всеми своими знакомыми: — со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими постыдными «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облонский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет.

Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна

Настоящая жизнь, а которую ведет приятель — есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.

— Мы тебя давно ждали, — сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. — Очень, очень рад тебя видеть, — продолжал он. — Ну, что ты? Как? Когда приехал?

Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми длинными пальцами, с такими длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.

— Ах да, позвольте вас познакомить, — сказал он. — Мои товарищи: — Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, — и обратившись к Левину: — земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева.

— Очень приятно, — сказал старичок.

— Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, — сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями.

Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.

— Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания, — сказал он, обращаясь к Облонскому.

— Скоро же! — с улыбкой сказал Облонский. — Но как? отчего?

— Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, — сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. — Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, — заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, — с одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это — средство для уездной coterie наживать деньжонки.. Прежде были опеки, суды, а теперь земство, не в виде взятка, а в виде незаслуженного жалованья, — говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение.

— Эге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, — сказал Степан Аркадьич. — Но, впрочем, после об этом.

— Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, — сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.

— Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? —

сказал он, доставая его новое, очевидно от французского портного, платье. — Так! я вижу: — новая фаза.

Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, — слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, — чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.

— Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, — сказал Левин.

Облонский как будто задумался:

— Вот что: — поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен.

— Нет, — подумав, отвечал Левин, — мне еще надо съездить.

— Ну, хорошо, так обедать вместе.

— Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем.

— Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.

— Два слова вот какие, — сказал Левин, — впрочем, ничего особенного.

Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.

— Что Щербацкие делают? Все по-старому? — сказал он.

Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.

— Ты сказал, два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку...

Вошел секретарь, с фамильярной почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.

— Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, — сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: — Так и сделайте. Пожалуйста, так, Захар Никитич.

Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.

— Не понимаю, не понимаю, — сказал он.

— Чего ты не понимаешь? — так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.

— Не понимаю, что вы делаете, — сказал Левин, пожимая плечами. — Как ты можешь это серьезно делать?

— Отчего?

— Да оттого, что нечего делать.

— Ты так думаешь, но мы завалены делом.

— Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, — прибавил Левин.

— То есть, ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то?

— Может быть, и да, — сказал Левин. — Но все-таки я люблюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой

Вспомнил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.

— Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, — а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: — перемены нет, но жаль, что ты так давно не был..

— А что? — испуганно спросил Левин.

— Да ничего, — отвечал Облонский. — Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?

— Ах, об этом тоже поговорим после, — опять до ушей покраснев, сказал Левин.

— Ну, хорошо. Понятно, — сказал Степан Аркадьич. — Так видишь ли: — я бы позвал тебя к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: — если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать.

— Прекрасно, до свидания же.

— Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! — смеясь, прокричал Степан Аркадьич.

— Нет, верно.

И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.

— Должно быть, очень энергический господин, — сказал Гриневич, когда Левин вышел.

— Да, батюшка, — сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, — вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат.

— Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?

— Да скверно, плохо, — сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.

VI

Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: — «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственной, поэтической завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этою поэтической, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременно на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя

Французской литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках — Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити в совершенно короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотою кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, — всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.

Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидел Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.

Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет, сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятностям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.

Пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.

Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже — который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити — отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, — казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но чтобы быть любимым тою любовью, какою он сам любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное — особенным человеком.

Слышал он, что женщины часто любят некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.

Лица пробыл два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: — будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или.. он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.

VII

Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета: — но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столкнуться. Речь шла о модном вопросе: — есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?

Сергей Иванович встретил брата своею обычною для всех ласково-холодною улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор.

Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора.

Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику по университету, основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум.

Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с задушевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому, главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь.

— Я не могу допустить, — сказал Сергей Иванович с обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, — я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие бытия получено мною не чрез ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия.

— Да, но они, Вурст, и Кнауэст, и Припасов, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что, коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия.

— Я скажу наоборот, — начал Сергей Иванович...

Левин опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и он решился предложить профессору вопрос.

— Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть? — спросил он.

Профессор с досадой и как будто умственной болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенес глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая: — что ж тут говорить? Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтоб и отвечать профессору и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал:

— Этот вопрос мы не имеем еще права решать...

— Не имеем данных, — подтвердил профессор и продолжал свои доводы. — Нет, — говорил он, — я указываю на то, что если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия.

Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.

VIII

Когда профессор уехал, Сергей Иванович обратился к брату:

— Очень рад, что ты приехал. Надолго? Что хозяйство?

Левин знал, что хозяйство мало интересуется старшего брата и что он, только делая ему уступку, спросил его об этом, и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах.

Левин хотел сказать брату о своем намерении жениться и спросить его совета, он даже твердо решился на это; но когда он увидел брата, послушал его разговора с профессором, когда услышал потом этот невольный покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах (материнское имение их было неделимое, и Левин заведовал обеими частями), Левин почувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это.

— Ну, что у вас земство, как? — спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение.

— А, право, не знаю...

— Как? Ведь ты член управы?

— Нет, уж не член; я вышел, — отвечал Константин Левин, — и не езжу больше на собрания.

— Жалко! — промолвил Сергей Иванович, нахмурившись.

Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось на собраниях в его уезде.

— Вот это всегда так! — перебил его Сергей Иванович. — Мы, русские, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта — способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем, мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права, как наши земские учреждения, другому европейскому народу, — немцы и англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся.

— Но что же делать? — виновато сказал Левин. — Это был мой последний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен.

— Не способен, — сказал Сергей Иванович, — ты не так смотришь на дело.

— Может быть, — уныло отвечал Левин..

Литтлтон, брат Николай опять тут..

Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший бóльшую долю своего состояния, вращавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями.

— Что ты говоришь? — с ужасом вскрикнул Левин.

— Почему ты знаешь?

— Прокофий видел его на улице.

— Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? — Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти.

— Я жалею, что сказал тебе это, — сказал Сергей Иваныч, покачивая головой на волнение меньшого брата. — Я послал узнать, где он живет, и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил.

И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресс-папье.

Левин прочел написанное странным, родным ему почерком: — «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин».

Левин прочел это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял пред Сергеем Ивановичем.

В душе его боролись желание забыть теперь о несчастном брате и сознание того, что это будет дурно.

— Он, очевидно, хочет оскорбить меня, — продолжал Сергей Иванович, — но оскорбить меня он не может, и я всей душой желал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать.

— Да, да, — повторял Левин. — Я понимаю и ценю твое отношение к нему; но я поеду к нему.

— Если тебе хочется, съезди, но я не советую, — сказал Сергей Иванович. — То есть в отношении ко мне, я этого не боюсь, он тебя не поссорит со мной; но для тебя, я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай, как хочешь.

— Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту — ну да это другое — я чувствую, что я не могу быть спокоен.

— Ну, этого я не понимаю, — сказал Сергей Иванович. — Одно я понимаю, — прибавил он, — это урок смирения. Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть... Ты знаешь, что он сделал...

— Ах, это ужасно, ужасно! — повторял Левин.

Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему, но, обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата Левин поехал в присутствии Облонского и, узнав о Щербацких, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити.

IX

В четыре часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда.

Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы.

Чистый народ блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы.

Он шел по дорожке к катку и говорил себе: — «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупое», — обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазков, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.

Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушел: — так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.

На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей; все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой.

Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему:

— А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки.

— У меня и коньков нет, — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в выботинках, видимо робея, катилась к нему, Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на шнурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее.

Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил; но, что всегда, как неожиданность поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.

ЛитДавидо.ком вы здесь? — сказала она, подавая ему руку. — Благодарствуйте, — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты.

— Я? я недавно, я вчера... нынче то есть... приехал, — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. — Я хотел к вам ехать, — сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. — Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.

Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.

— Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, — сказала она, стряхивая маленькою ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту.

— Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

— Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она улыбаясь. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе.

«Кататься вместе! Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее.

— Сейчас надену, — сказал он.

И он пошел надевать коньки.

— Давно не бывали у нас, сударь, — говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. — После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? — говорил он, натягивая ремень.

— Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, — думал он, — вот это жизнь, вот это счастье! Вместе, сказала она, давайте кататься вместе. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой... А тогда?.. Но надо же! надо, надо! Прочь слабость!»

Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.

— С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, — сказала она ему.

— И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: — на гладком лбу ее вспухла морщинка.

— У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать, — быстро проговорил он.

— Отчего же?.. Нет, у меня ничего нет неприятного, — отвечала она холодно и тотчас же прибавила: — Вы не видели mademoiselle Linon?

— Нет еще.

— Подите к ней, она так вас любит.

«Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» — подумал Левин и побежал к старой французенке с седыми букольками, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его, как старого друга.

— Да, вот растем, — сказала она ему, указывая глазами на Кити, — и стареем. Tiny bear уже стал большой! — продолжала французенка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. — Помните, вы,

«Иногда так говорили?»

Он решительно не помнил этого, но она уже лет десять смеялась этой шутке и любила ее.

— Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?

Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни.

— Неужели вам не скучно зимою в деревне? — сказала она.

— Нет, не скучно, я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же, как это было в начале зимы.

— Вы надолго приехали? — спросила его Кити.

— Я не знаю, — отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.

— Как не знаете?

— Не знаю. Это от вас зависит, — сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.

Не слыхала ли она его слов, или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатила прочь от него. Она подкатилась к m-lle Linon, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки.

«Боже мой, что я сделал! Господи боже мой! помоги мне, научи меня», — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги.

В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папирской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громокая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду.

— Ах, это новая штука! — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку.

— Не убейтесь, надо привычку! — крикнул ему Николай Щербацкий.

Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше.

«Славный, милый», — подумала Кити в это время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на него с улыбкой тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата, неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят: — кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?..» — думала она.

Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, покрасневший после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью.

— Очень рада вас видеть, — сказала княгиня. — Четверги, как всегда, мы принимаем.

— Стало быть, нынче?

— Очень рады будем видеть вас, — сухо сказала княгиня.

Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания заглядеть

Долли. Она повернула голову и с улыбкой проговорила:

— До свидания.

В это время Степан Аркадьич, со шляпой набоку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина.

— Ну что ж, едем? — спросил он. — Я все о тебе думал, и я очень рад, что ты приехал, — сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза.

— Едем, едем, — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший: — «До свидания», и видеть улыбку, с которою это было сказано.

— В «Англию» или в «Эрмитаж»?

— Мне все равно.

— Ну, в «Англию», — сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать этой гостиницы. — У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету.

Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слова до свидания.

Степан Аркадьич дорогой сочинял меню.

— Ты ведь любишь тюрбо? — сказал он Левину, подъезжая.

— Что? — переспросил Левин. — Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо.

Х

Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшему к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, *poudre de riz* и *vinaigre de toilette*. Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья.

— Сюда, ваше сиятельство, пожалуйста, здесь не беспокоят, ваше сиятельство, — говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. — Пожалуйста, ваше сиятельство, — говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу ухаживая и за его гостем.

Мгновенно разостлав свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился перед Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний.

— Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: — князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.

— А! устрицы.

Степан Аркадьич задумался.

Литтлтон. Не изменит ли план, Левин? — сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. — Хороши ли устрицы? Ты смотри!

— Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.

— Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?

— Вчера получены-с.

— Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?

— Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.

— Каша а ла русс, прикажете? — сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.

— Нет, без шуток, что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется.

И не думай, — прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, — чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.

— Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, — оказал Степан Аркадьич. — Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало — три десятка, суп с кореньями...

— Прентаньер, — подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

— С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: — «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...» — и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.

— Что же пить будем?

— Я что хочешь, только немного, шампанское, — сказал Левин.

— Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белою печатью?

— Каше блан, — подхватил татарин.

— Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.

— Слушаю-с. Столового какого прикажете?

— Ньюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.

— Слушаю-с. Сыру вашего прикажете?

— Ну да, пармезану. Или ты другой любишь?

— Нет, мне все равно, — не в силах удерживать улыбки, говорил Левин.

И татарин с развевающимися фалдами над широким тазом побежал и через пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.

Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.

— А недурны, — говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шляпающих устриц и проглатывая их одну за другой. — Недурны, — повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина.

Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам, с заметной улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.

— А ты не очень любишь устрицы? — сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, —

Или ты озабочен? А?

Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар — все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу.

— Я? Да, я озабочен; но, кроме того, меня это все стесняет, — сказал он. — Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя...

— Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, — смеясь, сказал Степан Аркадьич.

— Не могу, — отвечал Левин. — Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками.

Степан Аркадьич весело улыбался.

— Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум...

— Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы...

— Ну, разумеется, — подхватил Степан Аркадьич. — Но в этом-то и цель образования: — изо всего сделать наслаждение.

— Ну, если это цель, то я желал бы быть диким.

— Ты и так дик.. Вы все Левины дики.

Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.

— Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? — сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами.

— Да, я непременно поеду, — отвечал Левин. — Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня.

— Что ты! Вздор какой! Это ее манера... Ну давай же, братец, суп!.. Это ее манера, *grande dame*, — сказал Степан Аркадьич. — Я тоже приеду, но мне на спевку к графине Баниной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербацкие меня опрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: — ты делаешь всегда то, что никто не делает.

— Да, — сказал Левин медленно и взволнованно. — Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал.

— О, какой ты счастливеец! — подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.

— Отчего?

— Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, — продекламировал Степан Аркадьич. — У тебя все впереди.

— А у тебя разве уж назади?

— Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее — так, в пересыпочку.

— А что?

— Да нехорошо. Ну, да я о себе же хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, — сказал Степан Аркадьич. — Так ты зачем же приехал в Москву?.. Эй, принимай! —

вспыхнул он тогтарину.

— Ты догадываешься? — отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.

— Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, — сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.

— Ну что же ты скажешь мне? — сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. — Как ты смотришь на это?

Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.

— Я? — сказал Степан Аркадьич, — я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.

— Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? — проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. — Ты думаешь, что это возможно?

— Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

— Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! Ну, а если, если меня ждет отказ?.. И я даже уверен...

— Отчего же ты это думаешь? — улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич.

— Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.

— Ну, во всяком случае для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.

— Да, всякая девушка, но не она.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: — один сорт — это все девушки в мире, кроме ее, и эти девушки имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт — она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.

— Постой, соуса возьми, — сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.

Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьичу.

— Нет, ты постой, постой, — сказал он. — Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: — другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но, ради бога, будь вполне откровенен.

— Я тебе говорю, что я думаю, — сказал Степан Аркадьич улыбаясь. — Но я тебе больше скажу: — моя жена — удивительнейшая женщина... — Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минуту, продолжал: — У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, — она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она — на твоей стороне.

— То есть как?

— Так, что она мало того что любит тебя, — она говорит, что Кити будет твоею женой непременно.

При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.

— Она это говорит! — вскрикнул Левин. — Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, — сказал он, вставая с места.

— Хорошо, но садись же.

Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке-комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.

— Ты пойми, — сказал он, — что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь как счастье, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить...

— Для чего же ты уезжал?

— Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл... Я нынче узнал, что брат Николай... знаешь, он тут... я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно... Вот ты женился, ты знаешь это чувство... Ужасно то, что мы — старые, уже с прошедшим.. не любви, а грехов... вдруг сблизаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

— Ну, у тебя грехов немного.

— Ах, все-таки, — сказал Левин, — все-таки, «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуюсь...» Да.

— Что ж делать, так мир устроен, — сказал Степан Аркадьич.

— Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может...

XI

Левин выпил свой бокал, и они помолчали.

— Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? — спросил Степан Аркадьич Левина.

— Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?

— Поддай другую, — обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.

— Зачем мне знать Вронского?

— А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.

— Что такое Вронский? — сказал Левин, и лицо его из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.

— Вронский — это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем — очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.

Левин хмурился и молчал.

— Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать...

— Извини меня, но я не понимаю ничего, — сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.

— Ты постой, постой, — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. — Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком и нежном деле, сколько можно

Детство.ком
— Не кажется, шансы на твоей стороне.

Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.

— Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, — продолжал Облонский, доливая ему бокал.

— Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, — сказал Левин, отодвигая свой бокал. — Я буду пьян... Ну, ты как поживаешь? — продолжал он, видимо желая переменить разговор.

— Еще слово: — во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, — сказал Степан Аркадьич. — Поезжай завтра утром, классически, делать — предложение, и да благословит тебя бог...

— Что ж ты, все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной, — сказал Левин.

Теперь он всю душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина.

— Приеду когда-нибудь, — сказал он. — Да, брат, — женщины — это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, — продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, — ты мне дай совет.

— Но в чем же?

— Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной...

— Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач.

Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного.

— Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься. *Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen Meine irdische Begier; Aber noch wenn's nicht gelungen, Hatt'ich auch recht hubsch Plaisir!*

Говоря это, Степан Аркадьич, тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.

— Да, но без шуток, — продолжал Облонский. — Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, — ты пойми, — неужели бросить ее? Положим: — расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?

— Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта... то есть нет... вернее: — есть женщины, и есть... Я прелестных падших созданий не видал и не увижу, а такие, как та крашенная француженка у конторки, с завитками, — это для меня гадины, и все падшие — такие же.

— А евангельская?

— Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Из всего евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: — так и я.

— Хорошо тебе так говорить; это — все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта — не ответ. Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь



Lituz.com

**To'liq qismini
Shu tugmani
bosish orqali
sotib oling!**